

Максим Горький

Калинин



Максим Горький

Калинин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=637055

Аннотация

«Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, – в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там...»

Максим Горький

Калинин

Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, – в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там.

Всё вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и холодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядою заласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, черноклена, дуба, алычи Плеск, шорох, свист – всё скипелось в один непрерывный звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы.

– Разыгрался Змиулан, окианский царь! – кричит в ухо мне мой спутник, высокий, сутулый человек, с круглым ли-

цом ребенка и светлым взглядом прозрачных детских глаз.

– Кто?

– Царь Змиулан...

Молчу, – никогда не слыхал про такого царя.

Ветер толкает нас, желая загнать в горы; его напор так силен, что иногда мы останавливаемся, повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираемся на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть давит нас, срывая платье.

Мой спутник кряхтит, как в бане на полке, а мне – смешно: уши у него большие, вялые, точно у собаки, выгоревшая скуфейка не прикрывает их, и, загнутые ветром вперед, они придают его маленькой голове уморительное сходство с глиняным рукомоϊником. Солидный, длинный нос, словно чужой на мелком лице, – он еще более усиливает смешное сходство, являясь рыльцем рукомоϊника.

Странное у него лицо, и весь он – необычный, чем и пленил меня сразу же, как только я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря, за всеюнощной. Выпрямив сухое, тонкое тело, склонив голову чуть-чуть набок, он смотрел на распятие и, шевеля тонкими губами, улыбаясь сияющей улыбочкой, казалось, беседовал со Христом, как с добрым другом. На круглом, гладком лице – без бороды, точно у скопца – с двумя светлыми кустиками в углах губ, светилось никогда не виданное мною выражение интимности, сознания исключительной близости с сыном Божиим. Это ясное отсутствие

обычного – рабьего, пугливого отношения к своему богу – заинтересовало меня, и всю службу я с великим любопытством наблюдал, как человек беседует с богом, не кланяясь ему, очень редко осеняя себя знамением креста, без слез и вздохов.

После ужина в рабочей казарме я пошел в странноприимную и там, в светлом круге под лампой, опускавшейся с потолка, увидел его за столом, среди женщин и мужчин богомольцев, услышал негромкий, но какой-то светлый голос – внятную, полновесную речь проповедника, привыкшего говорить с людьми.

– Иное, конечно, надобно показать, иное – надо скрыть; ибо – ежели что бестолковое и вредное – зачем оно? Так же и напротив: хороший человек не должен высовываться вперед – глядите-де, сколь я хорош! Есть люди, которые вроде как бы хвастаются своею горькой судьбой: поглядите, послушайте, добрые люди, как горька моя жизнь! Это тоже нехорошо...

Чернобородый человек в поддевке, с темными глазами разбойника на иссохшем лице аскета, встал из-за стола, медленно расправил мощное тело и глухо спросил:

– А вот у меня жена и сынишко сожглись живьем в керосине – это как? Молчать об этом?

Несколько секунд все молчали. Потом кто-то негромко проворчал:

– Опять...

И тотчас в углу – в душном сумраке – родился уверенный ответ:

– Божие наказание за грехи...

– В три года – грехи? Ему три года было... это он и опрокинул лампу на себя, а она его схватила и загорелась сама... слабая была, на одиннадцатый день после родов...

– За грехи отца-матери, – по-прежнему уверенно выползли слова из угла. Чернобородый, должно быть, не слышал их, – разводя руками, рассекая ими воздух, он торопливо, без удержу, подробно сказывал о том, как сгорели жена и сын, – чувствовалось, что он говорит об этом часто и долго не кончит свой ужасный рассказ. Его мохнатые брови сошлись в одну черную полосу, под ними, налитые кровью, блестели белки глаз и тревожно перекатывались матовые черные зрачки.

Но вот в маленький промежуток его угрюмой речи втиснулся свободно и бодро светлый голос христоролюбивого странника:

– Это неправильно, землячок, винить господа бога за неловкий случай или за ошибку и за глупость...

– Стой, – ежели – бог, то отвечает за все!

– Нет, никак! Дан тебе разум...

– Что мне – разум, ежели я не могу понять?..

– Чего?

– А того... всего! Почему – моя жена сгорела, а – не соседова, ну?

Злой старушечий голос отчетливо проговорил:

– Ай-яй-яй! В монастырь пришел, а – воюет...

Чернобородый гневно сверкнул глазами, склонил голову, как бык, но вдруг, махнув рукой, быстрыми шагами, грузно топая, пошел к двери, – странник не торопясь встал, закачался и, всем кланяясь, тоже стал двигаться вон из странно-приимной.

– Наскрозь огорченное сердце, – сказал он, улыбаясь.

Мне показалось, что в улыбке этой нет сострадания.

А из угла кто-то снова инеодобрительно сказал:

– Любит он историю эту размазывать...

– И напрасно, – остановясь в дверях, заключил странник, – только ведь терзает себя и других! Про такие дела забывать надо...

Через минуту я выхожу на двор и слышу у ворот ограды его спокойный голос:

– Ничего, отец, не беспокойся...

– Гляди, – сердито говорит привратник, отец Серафим, здоровенный ветлужанин, – по ночам тут абхаз голодный бродит.

– Мне абхаз не вреден... Я тоже иду к воротам.

– Куда? – спрашивает Серафим, приблизив ко мне свое волосатое, звериное и бесконечно доброе лицо. – Ага, это ты, нижегороцкой! Напрасно, поди-ка, беспокоишь себя – бабы-то все спать полегли...

И смеется, – рычит, как медведь.

За оградой великая тишина осенней ночи – усталая тишина на земли, истощенной летом. Сладко пахнет увядшими травами и еще чем-то осенним, возбуждающим бодрость. Черные деревья висят в теплом и влажном воздухе, точно обрывки туч. Во тьме чуть слышно вздыхает, ластится к берегу полусонное море; небо окутано облаками, только в одном месте среди них опаловое пятно луны, и далеко на темной воде колыхнется другое, такое же...

Под деревьями – скамья и на ней человечья фигура, округленная гьмою; подхожу, сажусь рядом.

– Откуда, земляк?

– Воронежский. А ты?

Русский человек всегда так охотно рассказывает о себе, точно не уверен, что он – это именно он, и хочет, чтобы его самоличность была подтверждена со стороны, извне. Рассеялись люди по большой земле, и чем более ясна им ее огромность, тем как будто меньше становятся они в своих глазах; плутают по тысячеверстным дорогам, теряя себя, а если встретится случай рассказать о себе – расскажет подробно всё пережитое, виданное и выдуманное. И всего чаще в рассказах этих слышишь не утверждение:

«Вот – я!» а вопрос:

«Я ли это?..»

– Тебя как звать?

– Очень просто: Алексей Калинин!

– Ты мне – тезка.

– Ну?

И, дотронувшись рукою до моего колена, он говорит:

– Тезка, у меня – известка, у тебя – вода, айда – штукату-
рить города!

...Звонят в тишине невысокие, легкие волны; за спиною угасает хлопотливый шум хозяйственного монастыря, свет-
лый голос Калинина немножко погашен ночью, звучит мяг-
че, менее уверенно.

– Мать моя – была нянька, я у нее пригульный и с две-
надцати лет – лакей, это – из-за высокого роста. Тут вышло
так: поглядел на меня однажды генерал Степун – материн
барин – и сказал: «Евгенья, скажи-ка Федору», – лакею же,
старичку из солдат, – «чтобы он приучал сына твоего слу-
жить за столом, – он вполне вырос для этого!» И служил я у
генерала девять лет, лето в лето. Потом, случилось... потом
– захворал я... У купца, градского головы, служил двадцать
один месяц. В Харькове, в гостинице, с год... всё чаще при-
ходилось менять места, хотя я слуга аккуратный, трезвый, да
– осанки нет у меня настоящей-должностной... Главное же –
характер образовался гордый, не идущий к делу... я назна-
чен служить самому себе, а не людям...

Сзади нас, по шоссе, в направлении к Сухуму, идут невидимые люди, сразу понятно, что они не привыкли ходить
пешком, – шаркают ногами по земле тяжело. Красивый го-
лос тихо запекает:

Выхожу один я на дорогу...

Слово – один – громче других и, подчеркнутое, звучит печально.

Гулкий бас говорит лениво и внятно:

– Афон... Афония – потеря речи, до степени... до какой степени, мудрая Вера Васильевна?

– Почти до полной утраты членораздельности, – отвечает молодой женский голос.

Во тьме над землею призрачно плывут два черных пятна и между ними – белое.

– Странно!

– Что?

– Слова здесь какие-то... намекающие! Гора – На-копио-ба. Они тут накопили достаточно... умеют копить!

– А я не могу запомнить: Симон Канонит, и всегда говорю – каинит...

– Знаете что, господа? – как-то нарочито громко говорит красивый голос. – Смотрю я на всю эту красоту, дышу тишиной и думаю: а что, если бросить всё, ко всем чертям, и – жить...

Монастырский колокол, сухо отбивая часы, заглушил речь. Потом издали тоскливо донеслось:

О, если б в единое слово-о

Излить все, что на сердце есть!..

Мой сосед, вслушиваясь, странно наклонился набок, точ-

но слова гуляющих людей тянули его за собою, а когда голова потерялись вдали, он выпрямился и сказал, вздыхая:

– Вот: видно, что образованные люди, говорят обо всем, а – однако то же самое...

– Что?

– Да – слышал? – не сразу ответил он. – Бросить, говорит, надобно всё...

Наклонился ко мне, всматриваясь, точно близорукий, продолжал полушёпотом:

– Всё больше людей думают этак – бросить надо всё! И я тоже: долгие годы соображал – зачем служу, какая выгода? Ну – двенадцать, двадцать, хоша бы и пятьдесят рублей в месяц – что ж такое? А человек где? Может быть, для меня полезнее ничего не делать и в пустое место смотреть... сидеть вот так ночью и смотреть... и больше ничего!

– Ты что давеча говорил людям?

– Каким это?

– В странноприимной, бородатому?

– А! Не люблю я этого... людей этих, которые разносят по земле свое горе, бросают его под ноги всякому встречному... Что такое? Каждый сам по себе... Какая мне надобность в чужой слезе? Своя довольно солона... К тому же всякий, свое-то горе любя, считает его самым замечательным и горьким на земле. Знаю я это...

Он неожиданно встал, длинный и тонкий.

– Надо поспать, завтра рано я ухожу...

– Куда?

– В Новороссийск...

Была суббота, перед всенощной я получил в монастырской конторе мой недельный заработок. В Новороссийск – мне не по дороге и уходить из монастыря неохота, но человек этот интересен, таких людей на земле всегда – только двое, и один из них – я.

– Я тоже завтра иду.

– Значит – вместе...

...Мы вышли из монастыря на рассвете и вот – шагаем. Мысленно я поднимаюсь вверх и смотрю оттуда: берегом моря, по узкой тропе, идет пара длинных людей; один – в серой солдатской шинели и шляпе с прорванным верхом; другой – в рыжем кафтане и плисовой скуфье. Под ноги им плещет белой пеной безграничное море, ползут по камню дороги высушенные солнцем ленты водорослей, кружатся золотые листья. Ветер шумит, качая и толкая путников, летят над ними облака, с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним, устало и бессильно; слева – распростерлась пустыня, вся в белом кружеве; рыщет над нею ветер и гонит прозрачные столбы водной пыли.

В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок, – в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли – маленькое человечье серд-

це объято мятежным пламенем и, стораая, кричит миру:

– Я тебя люблю!

Страшно хочется жить, – так жить, чтоб смеялись старые камни и белые кони моря еще выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбужденная любовью одного из своих созданий – человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить ее новою красотю.

Но слова тяжелы, точно камни, убивая фантазию, они ложатся над трупом ее серым холмом, – смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою.

Иду, точно во сне, и сквозь плеск волн, горячее шипение пены слышу незнакомые слова:

– Гиман, Димон, Игамон, Змиулан – это есть добрые беси...

– А Христос – как с ними?

– Христос – ничего!

– Во вражде?

– Он – с этими? Зачем? Это беси особые, беси добрые...

И, к тому же, Христос ни с кем не враждует...

– А – торгоши во храме?

– Ну, один раз веревкой побил, эка важность! И ведь не по вражде к ним, а – для порядка.

Тропа, точно испугавшись напора волн, круто изогнулась вправо в кусты; пред нами – горы в облаках, облака темнеют

всё более сердито – наверное будет дождь.

Калинин поучительно рассказывает, взмахами палки отбивая цепкие ветви с тропы.

– Это опасное место, тут малярная лихорадка живет, – маляр один костромской наслал самую злую сестру – лихорадку сюда... Денег ему недодали, что ли, не помню причины случая...

На море плотно налегли тени, и оно стало траурным – черное с белым. Вдали виден Гудаут, весь захлестанный пеной – точно сугробы снега ползут на него.

– Ты мне расскажи про этих бесов.

– Изволь! Что?

– Что знаешь.

– Я всё знаю!

Он весело подмигивает мне, повторяя:

– Всё! У меня, брат, мать замечательная была – заговоры, заклятия всякие, сказки, святые жития – всё знала! Аягу я спать в кухне, за печью, а она на печи – она уже на покое жила, без работы: вынянчила трех детей у генерала...

Он остановился, потыкал в землю палкой, оглянулся назад и пошел, шагая широко, твердо.

– Была еще у генерала племянница, Валентина Игнатьевна, – удивительная!

– Чем?

– Так уж. Всем.

В сыром воздухе над нами тяжело проплыл баклан, – пти-

ца жадная и неумная. Перо сильных крыльев свистело в воздухе, вызывая какое-то темное воспоминание, недобрую мысль...

– Ну, рассказывай!

– Так вот – лежу я на полу, на печь не влезал – не люблю я печной жары, – а она сидит на печи, свеся ноги, мне и не видать ее в темноте, только то вижу, про что она говорит. Идет на меня сверху всё это – иной раз даже бывало жутко, так я кричу: «Мамка, не надо!» Я ведь страшного не люблю, я его и помню плохо... она сама была довольно страшная, умирала она тогда, внутренности гнили. Сорок три года ей, а вся седая и помирает, – запах от нее, все на кухне ругаются...

– Ну, а беси?

– Сейчас!

Всё плотней надвигается к тропе цепкий, причудливо запутанный кустарник; мы точно плывем среди шумных зеленых волн, нас легонько хлещут ветви, как бы внушая:

«Идите скорее, дождь захватит!»

Замедлив шаг, мой спутник мерно, немножко нараспев, рассказывает:

– Когда сыне божий Иисус Христос ушел в пустыню собраться с мыслями – послал сатана бесов к нему для искушения. Был в ту пору Христос молодой, веселый, сидит он среди пустыни на песке горячем, думает – как быть? – а сам набрал горсть камушков – играет. Вот подходят к нему беси: Гиман, Димон, Игамон, Змиулан – тоже всё молоденькие, и,

еще издали, видя Христа, пожалели они его: дескать – какой несчастной судьбе предан! Подходят: прими и нас поиграть! Христос улыбается им – ну, садитесь! Сели в кружок и начали они тут свое дело исполнять: кто из них камень вверх ни кинет – упадет камень на горячий песок нагой женщиной, лежит она вся свободная и, руки ко Христу простирая, манит его на грех. А он улыбнется ей, дунет духом уст своих, – тут она растает в парок и тотчас взлетит на воздух. Сам он кинет камушек – обернется камень шестикрылатым голубем и затрепещется во храм ерусалимский. Долго бились неумелые беси – видят: никак не может соблазниться Христос! И сказал ему старший бес, Змиулан:

– Нет, господи, больше мы не станем соблазнять тебя – ничего у нас не выходит! Хоть мы и беси – а не удастся!

– Никогда не удастся, – сказал Христос, – уж коли я что задумал, так сделаю! А что беси вы – это я знаю, и что вы – еще издали видя – пожалели меня, тоже знаю. Вот вы теперь правду о себе не скрыли – будьте же за это на всю жизнь добрыми, это легче будет для вас! Ты, Змиулан, будь окианским царем – отгоняй морским ветром гнилой дух от земли; ты, Димон, гляди, чтобы скот не ел ядовитых трав – пусть все ядовитые травы будут колючими; ты, Игамон, утешай по ночам безутешных вдов, которые бога обвиняют за смерть мужей; ты, Гиман, самый молодой, выбери себе что нравится!

– Я, господи, хохотать люблю!

– Вот и смеши людей, только – не в церкви.

– Я бы, господи, и в церкви тоже хотел!

– Усмехнулся тут Иисус Христос:

– Ну, бог с тобой, смехи и в церкви, только потихоньку!

– Так и обратил Христос злые беси в добрые.

...Над зеленым морем кустарника поднялись в небо древние дубы, желтый лист зябко трясется на них; могучее ореховое дерево сбрасывает увядшие одежды; мелкою дрожью дрожит алыча, и благодарно кланяется земле полуголый каштан.

– Хорошая история?

– Хорошая. Христос хорош.

– Он всегда такой, – с гордостью говорит Калинин. – Знаешь, как про него в Смоленской губернии одна старуха пела?

– Нет.

Этот чудной человек остановился и, притопывая ногою, запел нарочито дрожащим, старческим голосом:

У небеси расцвел цветок —
сыне божья!

Он всем радостям исток —
сыне божья!

Красным солнышком цветет —
сыне божья!

Благодать земле несет —
сыне божья!

С каждым стихом голос Калинина молодец, последний

стих был пропет высоким, приятным тенором.

Всему миру он один...

Вдруг сверкнул ослепительно синий луч, в горах глухо бухнуло, над землею и морем раскатилось стоголосое эхо. Калинин открыл рот, обнажив красивые, ровные зубы, потом стал часто креститься и забормotal:

– Боже страшный, боже добрый, седяй в вышних, на престоле злате в золотой палате, казни сатану, да во гресех не потону!..

И, повернув ко мне маленькое, испуганное лицо, мигая светлыми глазами, деловито заговорил:

– Бежим, брат, я грозы боюсь... бежим скорее, куда ни есть!.. Дождик хлынет, гляди, а тут – лихорадка эта...

Побежали; ветер толкает в спины, гремят наши чайники и котелки, котомка бьет меня по пояснице большим мягким кулаком. До гор – далеко, вокруг – никакого жилья. Кусты хватают за полы, под ногами прыгают камни, стало темно, и кажется, что горы плывут встречу нам.

Снова из черных туч стремительно излился небесный огонь, и море, вспыхнув синими сапфирами, точно выплеснулось из берегов; дрогнула земля, а из горных ущелий посыпался громкий скрежет каменных зубов.

– Свят, свят, свят, – кричит Калинин, исчезая в кустах.

Сзади хлещут волны, догоняя бегущих, впереди, во тьме – скрип и шорох; чьи-то длинные черные руки машут над головами, на вершинах гор, за густым пологом туч оглуши-

тельно грохочет железная колесница грома; всё чаще сверкают молнии, гудит земля, и в разрывах тьмы, в голубом сиянии шумят, качаются, бегут огромные деревья, а их уже счет косой холодный дождь.

Жутко, но – весело. Тонкие струны дождя бьют по лицу, тело охвачено хмельной бодростью, кажется, что можно бежать под дождем и громом бесконечно долго – вплоть до ясного дня.

– Стой, – гляди! – кричит Калинин.

На секунду озаренный молнией, пред нами ствол дуба и в нем – точно дверь – широкая черная щель; мы, смеясь, лезем в нее, как два мышонка.

– Тут места даже на троих довольно! – говорит мой спутник. – Выжжено дупло-то, – экие озорники! В живом дереве огонь разводят!

Тесно; пахнет гнилым листом и дымом; на голову и плечи шлепают тяжелые капли. При каждом ударе грома дерево, вздрагивая, гудит; среди воющего шума мы точно в море на узком челноке, и когда сверкнет молния – видно, как дождь убегает от нас, – он стелется в воздухе сетью синеватых лент, мелькает кусочками стекла.

Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал на землю столь сильный дождь, – он способен размыть горы, размягчить камни.

– Уо-уу-уо! – кричит где-то невысоко над нами и близко от нас горный филин.

– Думает – ночь! – шёпотом сказал Калинин.

– Уо-уу-уо! – вторит птица.

– Ошибаешься, брат! – громко крикнул человек.

Холодновато. Торопливо струится светло-серая влага, занавешивая полупрозрачной тканью стволы деревьев, толстые, как бочки, корявые и ошетилившиеся молодой порослью, еще не потерявшей мелкого листа.

Однотонный звук широко течет над землею и гасит мысли. Невольно, со вниманием, которое становится всё напряженнее, вслушиваешься, как дождь сечет опавший лист, бьет камни, хлещет о стволы деревьев, как журчат и всхлипывают ручьи, сбегая к морю, гудят в горах потоки, гремя камнями, скрипят деревья под ветром, равномерно бухает волна, – тысячи звуков сцепились в один тяжелый, сырой, и хочется разъединить их – разместить, как слова в песне.

Калинин возится, толкает меня и ворчит:

– Однако – тесно же! Не люблю я тесноты...

Он устроился удобнее меня: влез в дупло глубже, присел на корточки и как-то особенно ловко сложился в маленький комок. Дождь почти не мочит его. Вообще у него, видимо, очень хорошо развита ловкость привычного бродяги – умение быстро найти при всех неблагоприятных условиях самое выгодное положение.

– Вот – и дождь, и холод, и всё, – тихонько говорит он, – а хорошо ведь!

– Чем – хорошо?

– Никому, кроме бога, не обязан. Ежели сносить неприятности, так лучше от него, а не от себе подобного...

– Ты, видно, не очень любишь себе подобного-то?

– Возлюби ближнего твоего, яко собака палку, – ответил он, а помолчав, спросил: – За что его любить?

Я тогда тоже не знал – за что.

Не дождавшись моего ответа, Калинин снова спросил:

– Ты в лакеях не служил?

– Нет.

– То-то. Лакею ближнего любить трудно.

– Отчего?

– Послужи – узнаешь! Ежели кому служишь, так уж тут, братец мой, любить его не приходится... А дождь этот надо-олго!

Отовсюду текут всхлипывания, плач – точно вся земля тихо и горестно рыдает, прощаясь с летом накануне зимних бурь.

– Как ты попал на Кавказ?

– Шел, шел и пришел! – отвечает Калинин. – На Кавказ попасть всякому хочется...

– Почему?

– А – как же? С малых лет слышишь: Кавказ, Кавказ! Бывало – генерал заговорит – даже ошетинится весь и глаза выкатываются. Тоже и мать: она ведь тоже была здесь. На Кавказ, брат, всякого тянет: здесь жить просто – солнышка много, зима короткая, не злая, как у нас, фруктов множество...

вообще – веселее!

– А – люди?

– А что – люди? Держись в стороне, они не помешают.

– Чему?

Калинин, снисходительно усмехаясь, взглянул на меня и сказал:

– Экой ты чудак – спрашиваешь, спрашиваешь о самом о простом!.. Ты – грамотный? Ну – должен сам все понимать...

Изменив голос на сердитый и гнусавый, он пропел, точно молитву:

– Не попусти, господи, сглазить ни чернцу, ни чин-цу, ни попу, ни дьяку, ни великому грамотнику... Это – мать моя часто говаривала...

Дождь стал тише, его линии истончились, сеть их стала прозрачней – яснее видны угрюмые стволы почерневших дубов, ярче золото и зелень листвы. В дупле посветлело, обугленные стенки блестят, точно атлас, – Калинин ковыряет уголь пальцем и говорит:

– Это пастухи выжгли... Видишь – и сено натаскано, и сухой лист. Хорошая жизнь у пастуха здесь!..

Точно приготавливаясь уснуть, он обнял затылок руками, воткнул подбородок между колен и замер.

Мимо нашего дерева, омывая его обнаженные корни, торопливо – светлой змеею – бежит ручей, унося красный и рыжий лист. Хорош должен быть такой лист далеко среди моря: в небе только солнце, а на синем шелке моря – одна

эта красная звезда...

Мой спутник мурлычет, точно кот, какую-то песню. Мелодия знакома – «Спрятался месяц за тучку», но – я слышу другие слова:

Удивительная Валентина —
Вы прекрасней всех цветов!
Горит сердце нянькина сына,
И на все он для вас готов...

– Что это за песня?

Калинин разогнулся, завозился, гибкий, точно ящерица, крепко повел ладонями по лицу.

– Это – сочинение. Военный писарь один сочинил... помер он в чахотке. Дружок мой был, за всю жизнь – один, истинный! Тоже – удивительный человек!

– А – Валентина кто?

– Конечно – барышня, – неохотно ответил он.

– Писарь влюблен в нее был?

– Нисколько даже.

Видимо, он не хотел говорить об этом, снова съежился, спрятал голову и проворчал:

– Костер бы развести... а всё мокрое...

Скучно вато посвистывает ветер, встряхивая деревья; упорный мелкий дождь сечет землю.

Человек я маленький и бедный,

И другим не буду никогда

– снова тихонько запел Калинин и, взметнув голову быстрым, несвойственным ему движением, внушительно сказал:

– Это очень печальная песня... она может до слез взять за сердце. Ее только двое знали: я да он... ну, еще она, конечно... но она, конечно, и позабыла сразу...

И, улыбаясь светлыми глазами, он предложил снисходительно:

– Вот что: ты – человек молодой, и тебе надобно знать, где опасности для жизни, – расскажу я тебе историю одну...

Дождь тоже стал как бы прислушиваться: сквозь его шелковистый усыпляющий скукою шорох мирно потекла чело-вечья речь:

– Это не Лукьянов влюбился, а я, – он только стихи писал, по моей просьбе. Шел мне девятнадцатый год, когда она появилась, и как я взглянул на нее – так и понял, что в ней моя судьба, – даже сердце замерло, и вся жизнь полетела, как пылинка в огонь. И весь я вроде бы окрылился: так себя почувствовал, как, примерно, часовой на страже пред начальством – подтянулся весь, окреп, и эдакая тревога в сердце: вот сейчас что-нибудь случится! Лет ей – Валентине Игнатьевне – было двадцать пять, может – побольше... очень красивая! Просто – удивительная! Была она сирота: папашу турки убили, мамаша в Самарканде от оспы померла... Генералу она приходилась племянницей по жене. Барышня ры-

жеватая и белая, как фарфор с золотом, глаза – изумруды... Округлая такая вся... словно просвира... Заняла она угловую комнату, рядом с кухней, – у генерала, конечно, дом собственный – и еще дали ей светлый чуланчик. Наставила она везде свои странные вещи: бутылочки, чашечки стеклянные, медную трубу и круг, тоже стеклянный в меди, она его вертит, а от него – огненные искры скачут, потрескивают, этого она нисколько не боится и поет:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется,
И сердце радостью забьется
Не для меня, не для меня...

– Всегда она это пела. Блестит на меня глазками и говорит, очень просительно: «Вы, Алексей, ничего у меня не троньте, это вещи опасные!..»

– А у меня, действительно, всё при ней из рук падает, и эта ее песня... «Не для меня» – обидно мне за нее: как не для тебя? Всё – для тебя! Тянет сердце мое куда-то вверх. Купил гитару, а играть – не умею, на этом и познакомился с Лукьяновым, с писарем, – штаб дивизии находился в одной улице с нами. Был этот Лукьянов маленький, черноволосый, из крещеных евреев... лицо – желтое, а глаза – точно шилья. Отличный человек, и на гитаре играл – незабвенно... Говорит он мне: «В жизни всего возможно достичь... Нашему брату терять нечего. Откуда всё существующее? От про-

стейших людей: человек не родится генералом, но достигает звания. А женщина – говорит – начало и конец; и нужно ее стихами брать; я тебе напишу стихи, а ты ей подложи...» Мысли у него были прямые, бесстрашные...

Калинин рассказывал быстро, воодушевленно и вдруг как бы погас: замолчал на несколько секунд и продолжал уже тише, медленнее, как-то недовольно:

– Сразу-то я ему поверил, а потом всё оказалось не так: и женщина – обман, и стихи – чепуха, и невозможно человеку ускользнуть от своей судьбы. А храбрость – это на войне удобно, в мирной жизни она просто – голое озорство! Тут, братец мой, надобно знать закон основания жизни: есть люди высокого звания и низкого звания, и пока они на своем месте – это хорошо; а как только кто полез сверху вниз или снизу вверх – кончено! Застревает человек на полудороге – ни туда ни сюда, и так – на всю жизнь! На всю жизнь, брат! Значит – сиди тихо при своем месте, как дозволено судьбою... Дождик, кажись, перестает?

Да, капли падают всё более редко и устало, сквозь мокрые сучья в сыром небе видны светлые пятна, они напоминают о солнце.

– Рассказывай!

Калинин усмехнулся.

– Интересно? Н-ну, хорошо, поверил я Павлу, – пиши стихи, сделай милость! Он на другой же день очень ловко и приготовил их... забыл я слова... как-то так, что-де и дни и неде-

ли ваши глазки сердце мне ели любовным огнем и – пожалейте о нем! Подсунул я ей эти стихи под бумагу на стол – дрожу, конечно. На другой день утром убираю комнату – вдруг она выходит в распашном таком капоте красном, папираса в зубах, улыбается ласково и говорит, показывая мне бумажку: «Это вы, Алексей, написали?» – «Так точно, говорю, простите, Христа ради!» – «У вас, говорит, есть фантазия, и это очень жалко, потому что я занята: дядя меня выдает за доктора Клячку, ничего невозможно сделать!»

– Обомлел я: так ласково и сожалительно она сказала. Клячка – доктор, – красный, угреватый, усищи до плеч, тяжелый такой человек и всё хохочет, кричит: «Нет ни начала, ни конца, а только одно удовольствие!»

– Генерал тоже хохочет над ним, трясется весь: «Вы, говорит, доктор – комик», – это значит – паяц, балаганщик. Я же в то время был как тростинка, лицо – румяное, волосы вьются, жил чисто. С девицами обращался осторожно, проституток вовсе презирал... вообще – берег себя для высшей ступени, имея в душе направляющую мечту. И вина не пил, противно было мне... потом – пил. В бане мылся каждую субботу.

– Вечером все они – и Клячка – поехали в театр, – лошади у генерала, конечно, свои, – а я – к Лукьянову: так, мол, и так! «Ну, говорит, поздравляю, ставь пару пива, дело твое кругло, как шар! Давай трешницу, я тебе еще стихов накатаю. Стихи, говорит, это дело колдовское, вроде заклин-

дания».

– И написал песню про удивительную Валентину – очень жалобно, и так понятно всё. О господи...

Калинин задумчиво потрянул головою и уставился детскими глазами на голубые пятна неба, промытого дождем.

– Нашла она стихи, – нехотя, против воли говорил он, – кликнула меня к себе, спрашивает: «Как же нам быть, Алексей?»

– А сама – полуодета, чуть не всю грудь мне видно, и ноги голые, в одних туфельках; сидит в кресле, качает ножкой, дразнит.

«Как же нам быть?» – говорит.

– Разве я знаю? Меня словно и нет на земле.

«Вы умеете молчать?» – спрашивает она.

– Я – головой киваю, совсем онемевши. Нахмурилась она, встала, взяла какие-то две баночки, отсыпала из них порошка в конверт, дает мне и говорит: «Я, говорит, вижу один исход из мук наших египетских вот – порошок, доктор сегодня обедает у нас, так всыпьте ему порошок этот в тарелку, и через несколько дней я буду свободна для вас!»

– Перекрестился я, взял конверт, а у меня туман в глазах и даже ноги окоченели. Не помню, что со мной было, обмеря изнутри и до самого прихода Клячки этого – ничего не понимал...

Калинин вздрогнул, стукнули его зубы, испуганно глядя на меня, он торопливо завозился.

– Обязательно надо костер – дрожу я! Ну-ко, вылезай...

По мокрой земле, светлым камням и траве, осеребренной дождем, устало влачили тени изорванных туч. На вершине горы они осели тяжелой лавиной, край ее курился белым дымом. Море, успокоенное дождем, плескалось тише, печальнее, синие пятна неба стали мягче и теплей. Там и тут рассеянно касались земли и воды лучи солнца, упадет луч на траву – вспыхнет трава изумрудом и жемчугом, темно-синее море горит изменчивыми красками, отражая щедрый свет. Всё вокруг так хорошо, так много обещает, точно ветер и дождь прогнали осень и снова на землю возвращается благодотворное лето.

Сквозь влажный шорох наших шагов и веселое падение дождевых капель я слушаю ворчливый, усталый рассказ:

– Ну... Открыл я ему дверь и не могу в глаза взглянуть, сама собою голова падает, а он поднял ее за подбородок и спросил: «Ты что это какой желтый, а? В чем дело?»

– Он был добрый... кроме того, что на чай жирно давал и вообще всегда как-то говорил со мной отлично... будто я не лакей...

«Нездоровится, говорю, мне...» – «Ну, говорит, я тебя после обеда осмотрю, не падай духом».

– Тут понял я, что не могу отравить его, а нужно самому мне принять порошок этот, да, самому! Вроде как молонья озарила сердце мне – вижу, что не той дорогой иду, которая указана мне судьбою, бросился в свою комнатку, налил ста-

кан воды, всыпал порошок – замутилась вода, зашипела, пеною покрывшись. Страшно! Однако – выпил. Не обожгло. Прислушиваюсь ко внутренностям – ничего, а в голове даже светлее стало, хотя и жалко себя, чуть не до слез... Давай-ко, устроимся здесь!

Огромный камень в темно-зеленой шапке моха и ползучих растений добродушно наклонил над землю широкое, плоское лицо – точно Святогор-богатырь ушел в землю, увлеченный тягою ее, осталась над землю только голова и лицо, стертые вековыми думами. Со всех сторон тесно обросли, обступили его дубы, тоже как будто иссеченные из камня; ветви их касаются морщин старой скалы. Под навесом камня сухо и уютно, – сидя на корточках и ломая сучья, Калинин говорит:

– Вот где бы нам дождь-то переждать...

– Ну – продолжай историю...

– Да... Ты – запаливай...

Вдвинув тонкое тело глубоко под камень, он вытянулся на земле и вяло продолжал:

– Иду тихонько в буфетную, ноги у меня пляшут, в груди – холодно. Вдруг – в гостиной Валентина Игнатьевна очень весело смеется, и через столовую слышу я генераловы слова:

«Вот он – народ ваш, что-с? Он за пятак на всё согласен!»

– А возлюбленная мною – кричит:

«Дядя! Разве мне пятак цена?»

– И доктор тоже говорит:

«Ты чего ему дала?» – «Соды с кислотой. Господи, вот смешно будет...»

Калинин замолчал, закрыл глаза.

Вздыхает влажный ветер, относя густой дым на черные ветви деревьев.

– Сначала обрадовался я, что не умру, – сода с кислотой – это не вредно, это с похмелья пьют. А потом вдруг ударило меня соображение: разве можно так шутить? Ведь я же – не кутенок!.. Все-таки стало легче мне. Начали обедать, подаю бульон в чашках, все молчат. Доктор первый отведал бульон, поднял чашку, сморщился и спрашивает: «Позвольте, что такое?» – «Ну, нет, думаю, не удалось вам, господа, пошутить!» Да и говорю вполне вежливо: «Не извольте беспокоиться, господин доктор, порошок я самолично принял...»

– Генерал с генеральшей не поняли, что шутка не состоялась, и – хохочут, а те двое – молчат, глаза у Валентины Игнатьевны большие-большие сделались, и тихонько так она спрашивает: «Вы знали, что это безвредно?» – «Нет, говорю, когда принимал – не знал...»

И тут я свалился с ног, лишившись чувств своих окончательно.

Маленькое лицо его болезненно сморщилось, стало старым и жалким. Он повернулся грудью к неяркому костру, помахал рукою, отгоняя дым, озорниковато и лениво тянувшийся в угол.

– Хворал я семнадцать ден. Приходил доктор этот, Кляч-

ка, – фамилия же!.. Сядет около меня, спрашивает: «Значит – ты сам хотел отравиться, чудак-человек?»»

– Так и зовет меня: чудак-человек. А что ему за дело? Я сам себя могу хоть собакам скормить... Валентина Игнатьевна ни одного разу не заглянула ко мне... так я ее никогда и не видал больше... Они вскорости повенчались и уехали в Харьков, Клячка место получил при чугуевском лагере. Остался я один с генералом, он – ничего был старик, с разумом, только, конечно, грубый. Выздоровел я – он меня призвал и внушает: «Ты-де совершенный дурак, и всё это подлые книжки испортили тебя!» – а я никаких книжек не читывал, не люблю этого. – «Это, говорит, только в сказках дураки на царевнах женятся. Жизнь, говорит, шахматы, каждая фигура имеет свой собственный ход, а без этого – игры нет!»»

Калинин простер над огнем руки – тонкие, нерабочие – и усмехнулся, подмигивая мне.

– Эти его слова я принял очень серьезно: «Значит – вот как? – думаю себе. – А ежели я не желаю играть с вами и проигрывать мою жизнь неведомо для чего?»»

Он торжествующе поднял голос.

– И тогда стал я, братец ты мой, всматриваться в эту их игру, и увидал я, что живут все они в разных ненужностях, очень обременены ими, и всё это не имеет серьезной цены. Книжечки, рамочки, вазочки и всякая мелкая дребедень, а я – ходи промеж этого, стирай пыль и опасайся разбить, сломать. Не хочу! Разве для этих забот мать моя в муках родила

меня и для этой жизни обречен я по гроб? Нет, не хочу, и позвольте мне наплевать на игру вашу, а жить я буду как мне лучше, как нравится...

В его глазах вспыхнули зеленые искорки, пальцы рук судорожно сцепились, и он взмахнул ими над огнем, как бы отсекая красные кудри.

– Конечно, я не сразу понял это, а – исподволь дошел. Окончательно же утвердил меня в этих мыслях один старец в Баку – мудрейший человек! «Ничем, говорит, не надобно связывать душу свою: ни службой, ни имуществом, ни женщиной, ниже иным преклонением пред соблазном мира, живи один, только Христа любя. И это – единое, что навсегда верно, единое навеки крепкое»...

– Ух! – воодушевленно крикнул он, надув щеки и покраснев от какого-то внутреннего усилия. – Весьма много видел я и земли и людей, и уже много есть на Руси таких, которые понимают себя и пустякам предаваться не хотят. «Отойди ото зла и тем сотворишь благо», говорил мне старичок, а я уже до него понял это! Сам даже множеству людей говорил так, и говорю, и буду... Однако – солнце-то вон где! – вдруг оборвал он самодовольную речь восклицанием тревожным и жалобным.

Большое красное солнце тяжело опускалось в море; между ним и водою – невысокие темные холмы облаков со снеговыми вершинами.

– Пожалуй, захватит ночь, – ощупывая кафтан, ворчал Ка-

линин. – А тут – чекалки по ночам рыщут. Чекалок – знаешь?

– Шакалов?

– Правильно называется – чекалка.

Три облака похожи на турок в темно-красных халатах и белых чалмах, они соткнулись головами, тайно беседуя о чем-то, у одного на спине вздулся горб, на чалме другого выросло бело-розовое перо, оторвалось и всплыло в небо, к задумчивому солнцу, без лучей и подобному луне. Третий турок выдвинулся вперед и, согнувшись над морем, закрыл собеседников своих, из-под чалмы его вспух большой красный нос и смешно нюхает море.

– Слепой старик лапоть ловчее плетет, чем многие умные люди составляют свою жизнь, – слышен сквозь треск и шипение костра ровный голос Калинина.

Мне уже не хочется слушать его; нити, привлекавшие меня к нему, как-то сразу перегорели, оборвались. Хочется молча смотреть в море и думать о чем-то, что, по-вечернему тихо и ласково, волнует душу. Запоздалыми каплями дождя падают его слова.

– Все суются, спрашивают друг друга: ты как живешь? Учат – ты не так живешь, вот как надобно! А кому известно, как надо жить для полного моего здоровья? Никто ничего не может знать – пускай каждый живет как хочет, без принуждения! Я ничего от тебя не хочу, и ты от меня ничего не требуй. И не жди. А отец Виталий доказывает обратное: че-

ловек должен быть в мире ратником супротив зла...

В темной пустыне лежит кроваво-красная тропа – не по ней ли прошли и невидимо идут, теряя плодотворно горячую кровь, лучшие люди мира?

Справа и слева от этой живой полосы огня море странного, темно-малинового цвета, дальше оно – черное и мягкое, точно бархат, где-то далеко на востоке бесшумно вспыхивает молния, точно незримая рука зажигает о сырое небо спичку и не может зажечь.

Калинин обиженно говорит о старце Виталии, смотрителе за работами в Ново-Афонском монастыре, – вспоминается умное, веселое лицо монаха, с жемчужными зубами в шелке черной и серебряной бороды; прищулив красивые женские глаза, он говорит внушительным баском, подчеркивая «о»: «Когда мы, теперешние, прибыли сюда – был тут хаос довременный и бесово хозяйство: росло всякое ползучее растение, окаянное держидерево за ноги цапало и тому подобное! А ныне – глядите-ко, сколь великую красу и радость сотворили руки человечьи и благолепие какое!»

Он гордо очерчивает крепкой рукою и взглядом широкий круг в воздухе: в этот круг, как в раму, заключена гора, разработанная уступами под фруктовый сад, – земля, точно пух, взбита на ней; под ногами Виталия серебряная полоса водопада и лестница, высеченная в камне, – она ведет в пещеру Симона Канонита. А внизу горят на полуденном солнце золотые главы новой церкви, тают белые корпуса гостиниц и

служб, зеркалом лежат рыбные пруды и всюду – царственно важные, холеные деревья.

«Братие, – когда захочет человек – дано ему одолеть всяческий хаос!» – торжественно говорит Виталий.

– Тут я его и прижал: «Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный; он вашу земную заботливую жизнь отвергал!» – рассказывает Калинин, потряхивая головою, и уши у него тоже трясутся. – «Был он не для низких и не для высоких, а – как все великие справедливыцы – ни туда ни сюда! А когда с Юрием да Николою ходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их, – они спорят о человеке, а он – молчит!» Уел я его этим, рассердился Виталий, кричит: «Ах ты, невежа, еретик!»

Под камнем душно, дымно. Костер – точно охапка красных маков, азалий и еще каких-то желтых цветов; он живет своей красивой жизнью, стгорая и согревая, умно и весело смеясь ярким смехом.

С гор, из туч, тихо спускается сырой вечер, земля дышит тяжело и влажно, море густо поет неясную, задумчивую песню.

– Значит – здесь заночуем? – деловито спрашивает Калинин.

– Нет, я пойду.

– Ну что ж! Идем...

– Мне – не по дороге с тобой...

Он, сидя на корточках, вынимал из котомки хлеб и груши,

но после моего ответа снова сунул в нее вынутое и захлестнул котомку, сердито спросив:

– Зачем же ты шел?

– Поговорить. Человек ты интересный...

– Конечно – интересный, – таких, как я, не много, брат!

Солнце, похожее на огромную чечевицу, тускло-красное, еще не скрылось, и волны не могут захлестнуть огненного пути к земле. Но скоро оно утонет в облаках, тогда тьма сразу выльется на землю, точно из опрокинутой чаши, и сразу в небе вспыхнут большие ласковые звезды. Земля во тьме станет маленькой, как человечье сердце.

– Прощай!

Яжимаю небольшую, без мускулов, кисть руки – человек детски ясно смотрит в глаза мне и говорит:

– А я скорей тебя дойду!

– До Гудаута?

– Ну да...

...Вот я и один, в ночи, на милой мне земле, всем одинаково чужой и всему равно близкий, щедро оплодотворяемый жизнью, по мере сил оплодотворяющий ее.

С каждым днем всё более неисчислимы нити, связующие мое сердце с миром, и сердце копит что-то, от чего всё растёт в нем чувство любви к жизни.

Поет море ночной гимн; камни, заласканные волнами, глухо гудят в ответ. Неясное – белое носится стаями по черной пустыне; вдали над нею еще не погасла вечерняя заря, а

в зените неба уже ярко пылают звезды.

Засыпая, вздрагивают вершины деревьев – на землю сыплются капли дождя. Всхлипывает вода под ногами – звук робкий и сонный.

Иду во тьме и сам себе свечу; мне кажется, что я живой фонарь, в груди моей красным огнем горит сердце, и так жарко хочется, чтобы кто-то боязливый, заплутавшийся в ночи – увидал этот маленький огонь...